

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И НИКОЛЕНЬКА ИРТЕНЬЕВ: ТРИ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ

Начало: «Весь мир погибнет,
если я остановлюсь...»

Однажды, гуляя с Тургеневым, он увидел старого мерина и так удивительно рассказал историю его жизни, что Тургенев, смеясь, предположил: «Когда-то, Лев Николаевич, вы были лошадью».

Через много лет Илья Львович Толстой вспоминал об отце: «Ведь у него всегда было семь пятниц на неделе, его никогда нельзя было понять до конца. (...) Я хочу сказать, что его и до сих пор не понимают как следует. Ведь он состоял из Наташи Ростовой и Ерошки, из князя Андрея и Пьера, из старика Болконского и Каратаева, из княжны Марьи и Холстомера...»

Но сначала он был все-таки графом Толстым, Львом Николаевичем, Лёвушкой, появившимся на свет в одном из самых родовитых семейств России. Предок Толстого по отцовской линии был сподвижником Петра I и одним из первых получил графский титул. Прабабка матери Толстого и прабабка Пушкина были родными сестрами, так что Пушкин и Толстой являются не только литературными, но и кровными (правда, далекими) родственниками.

«Я родился в Ясной Поляне, Тульской губернии, Крапивенского уезда, 1828 года 28 августа. Это первое и последнее замечание, которое я делаю о своей жизни не из своих воспоминаний» — так начинается «Моя жизнь», написанная за несколько месяцев до пятидесятилетия (1878).

Как и всегда, стремясь к предельным задачам, Толстой хочет погрузиться в колодезь памяти до самого дна, понять, как и когда начинается человеческая жизнь и человеческое сознание.

«Когда же я начался? Когда начал жить? (...) Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобретал и 1/100 того. От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость».

В жизни до пяти лет, на этом страшном расстоянии, он отчетливо помнил два контрастных эпизода.

Его пеленают, сковывают, а он хочет вырваться на свободу: «Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают».

А вот его купают в корыте, и он впервые ощущает плоть мира и собственное тело: «...Я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную страшную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками».

В пять лет, покидая детскую и переходя на первый этаж к старшим братьям, он в первый раз почувствовал, что «жизнь не игрушка, а трудное дело». «Я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня».

У него было счастливое детство. Стоял посреди России в старом парке дворянский дом, смотрели со стен портреты предков, Толстых и Волконских. Четверо братьев и сестра росли в атмосфере всеобщей любви и заботы, с гувернерами, учителями, детскими играми и радостями.

У него было несчастное детство. В полтора года он потерял мать, Марию Николаевну (он совсем не помнил ее, от нее не осталось даже портрета). В девять — остался круглым сиротой (отец Николай Ильич умер внезапно, деньги,

бывшие при нем, пропали, предполагали даже, что он был отравлен слугами). В семье менялись опекуны, детей разлучили с любимой тетюшкой Т. А. Ергольской.

Да и может ли быть счастлив и беззаботен ребенок, который в пять лет уже испытывает «чувство креста, который призван нести каждый человек»?

В тринадцать лет Толстой оказывается в Казани, через год поступает в университет, меняет факультеты (восточный на юридический), но в 1847 году возвращается в Ясную Поляну, так и не закончив курса. Окружающим, да и себе самому, он казался неудачником. Между тем, сам того пока не подозревая, он уже определяет свою будущую судьбу, выбирает свой пожизненный крест. В марте 1847 года он начинает вести дневник (последняя запись в нем будет сделана через 63 года, за неделю до смерти).

Дневник становится интимным собеседником, воспитателем, «школой самонаблюдения и самоиспытания» (Б. М. Эйхенбаум). Толстой окружает себя частоколом правил (от правил жизни вообще до правил игры в карты), строит долгосрочные программы, строго следит за их выполнением, карает себя за ошибки и отступления.

В этих записях четко проявляются предельность требований к себе и масштабность задач, которые ставит перед собой молодой человек. Собираясь возвращаться из Казани в Ясную Поляну, 17 апреля 1847 года Толстой намечает ближайшие жизненные планы:

«Какая будет цель моей жизни в деревне в продолжение двух лет? 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать права. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать».

Конечно, в полном виде эта грандиозная программа не могла быть осуществлена не только за два года, но и за всю жизнь. «Легче написать десять томов философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике», — самокритично замечает сам Толстой. Но у человека, который ставит перед собой подобные задачи, обязательно что-либо получится.

В одном из поздних писем Толстой вспомнит фразу любимого Наполеона, произнесенную перед солдатами во время египетского похода, подчеркнув масштаб и бесконечность своих планов и поисков: «Вы говорите, что мы как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать. Я, по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что *du haut d'écès pyramides 40 siècles me contemplant*¹ и что весь мир погибнет, если я остановлюсь» (А. А. Толстой, декабрь 1874 года).

«История вчерашнего дня»: открытие *диалектики души*

«Десять тысяч верст вокруг самого себя», — пошутил Глеб Успенский по поводу толстовских исканий, перефразируя заглавие романа Ж. Верна. Но эта, по видимости, бесплодная и бессмысленная работа на самом деле была устремлена к невидимой цели.

Через много лет, опять-таки в дневнике, Толстой запишет: «Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. От этого и искусство. Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям» (17 мая 1896 года).

Вполне логично, что постоянное пользование микроскопом для разгадки тайн собственной души привело к постановке и собственно литературных задач. 25 марта 1851 года в дневнике отмечено: «...написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит».

¹ Сорок веков смотрят на меня с вершин этих пирамид (*фр.*).

Описание одного дня заняло полмесяца, но так и не было закончено. «История вчерашнего дня» была опубликована лишь в столетнюю годовщину писателя. В этой небольшой вещи, жанр которой трудно определить (это отчасти дневник, отчасти повесть), уже видны многие важные черты Толстого-художника.

«Пишу я историю вчерашнего дня не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен, скорее мог назваться замечательным, а потому что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления, хотя темных, неясных, но не менее того понятных душе нашей, проходит в один день».

С первых же строк в «Истории...» заявлены *простота, обыденность предмета* литературного изображения. Искусство растет не на экзотической почве, любое мгновение бытия человеческого на земле заслуживает внимания и запечатления.

А дальше следует характернейший толстовский ход мысли: доведение исходного тезиса до парадокса, до абсурда. (Такой прием станет постоянной приметой его стиля — от «Севастопольских рассказов» до «Воскресения».) «Ежели бы можно было рассказать их (впечатления и мысли одного дня. — *И. С.*) так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что не достало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать».

Предельно четко Толстой говорит главное: можно исчерпывающе пересказать действия и поступки, внешнюю сторону жизни, но *в глубь человеческая душа неисчерпаема.*

Из возможной поучительной и занимательной книги в «Истории вчерашнего дня» чернила истрачены лишь на несколько эпизодов, в которых обозначен не только предмет, но и *метод* толстовского видения мира.

Герой (не названный по имени граф) играет вечером в карты в молодой симпатичной семье (муж — его приятель, в жену он платонически влюблен), потом собирается

домой, хотя дама предлагает поиграть еще. Он отказывается, тут же жалеет об этом и одновременно «рассуждает сам с собой» о сказанной по-французски фразе жены: «Как он любезен, этот молодой человек».

«Как я люблю, что она меня называет в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я бы любил и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко звать меня по имени, по фамилии и по титулу. Неужели это от того, что я... „Останься ужинать“, — сказал муж. Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости».

Этот эпизод можно рассматривать как эпиграф ко всему творчеству Толстого вплоть до «Анны Карениной». Еще не опубликовавший ни строчки писатель уже открывает метод изображения героя, который немного позднее, анализируя «Детство», «Отрочество» и «Севастопольские рассказы», Н. Г. Чернышевский назовет *диалектикой души*.

Мысль — слово — поступок героя беспрерывно конфликтуют между собой. Формальное повторение привычных фраз сопровождается безмолвным диалогом совсем о другом, а отпущенное, отбившееся от контроля сознания тело в то же время совершает внешне бессмысленные, а на самом деле глубоко рациональные действия, отвечающие не словам, а тайным желаниям.

Стабильный в прежней литературной традиции образ человека при таком подходе теряет твердые очертания, становясь подвижным, изменчивым. «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека, то, что он один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо» (Дневник, 21 марта 1898 года).

Изображение постоянных противоречий между словом и мыслью, словом и поступком, которые все время фиксирует и анализирует проницательный повествователь, становится фирменным приемом, доминантой психологического

метода Толстого. «Есть у Вас попопзновение к чрезмерной тонкости анализа, которая может разрастись в большой недостаток. Иногда Вы готовы сказать: „У такого-то ляжки показывали, что он желает путешествовать по Индии“. Обуздать эту склонность Вы должны, но гасить ее не надо ни за что на свете. Вся Ваша работа над своим талантом должна быть в таком роде. Каждый Ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты, почти каждое Ваше достоинство имеет в себе зернушки недостатков», — спародировал и одновременно поддержал автора А. В. Дружинин (Л. Н. Толстому, 6 октября 1856 года).

Но эти внешние и внутренние конфликты интересовали писателя не сами по себе. Сверхзадачей было иное: не только изобразить и понять человека, но и — с помощью искусства — заразить его своим отношением к жизни.

«Цели художества несоизмеримы (как говорят математики) с целями социальными. Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы» (П. Д. Боборыкину, июль-август 1865 года).

Предсказанный Толстым срок оказался многократно превзойденным. Над его книгами плачут и смеются, с их помощью *полюбляют жизнь* читатели многих стран и нескольких поколений.

«Детство»: экзистенциальное и социальное

Вскоре после «Истории вчерашнего дня», «вещи в себе», Толстой наконец открыто входит в русскую литературу. Недоучившийся студент, неудачливый помещик, незадачливый чиновник Тульского дворянского собрания, человек по

всем формальным показателям отставший от сверстников с карьерой, семьей, положением, он вместе с братом Николаем в апреле 1851 года едет служить на Кавказ юнкером и там продолжает начатую в деревне новую работу.

«Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы; так вот я послушался вашего совета — мои занятия, о которых я вам говорю, — литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу» (Т. А. Ергольской, 12 ноября 1851 года).

Масштабность, грандиозность, циклопичность толстовских замыслов, проявившаяся уже в дневниках и в «Истории вчерашнего дня», очевидна и в этой работе. Задуманный роман «Четыре эпохи развития» должен был состоять из четырех частей: «Детство», «Отрочество», «Юность», «Молодость». Сохранившиеся планы и наброски отличаются почти школьной продуманностью и обстоятельностью, включая разделы «Основные мысли сочинения», «Форма сочинения», «Содержание».

В процессе работы содержание и форма изменились больше, чем «мысли». Объективная сопоставительная характеристика двух братьев («Выказать интересную сторону отношений между братьями»; «Провести во всем сочинении различие братьев: одного наклонного к анализу и наблюдательности, другого — к наслаждениям жизни») превратилась в историю центрального героя, глазами которого мы видим весь мир, в том числе и характер другого брата. Сплошное, «тотальное» повествование трансформировалось в последовательность маленьких главок, позволяющих автору складывать сложную мозаику из простых повествовательных фрагментов, *сцен и размышлений*. «Манера, принятая мною с самого начала, писать маленькими главами — самая удобная. Каждая глава должна выражать одну только мысль или одно только чувство», — сформулирует Толстой чуть позднее, уже обогащенный опытом «Детства» (Дневник, 31 декабря 1853 года).

Но ключевое членение на *эпохи* и идея резкого, катастрофического перехода из одного состояния в другое со-

хранились и тогда, когда роман превратился в цикл повестей (формально так и не завершённый). «Резко обозначить характеристические черты каждой эпохи жизни: в детстве теплоту и верность чувства; в отрочестве скептицизм, сладострастие, самоуверенность, неопытность и [начало тщеславия] гордость; в юности красота чувств, развитие тщеславия и неуверенность в самом себе; в молодости — эклектизм в чувствах, место гордости и тщеславия занимает самолюбие, узвание своей цены и назначения, многосторонность, откровенность».

Работа над «Детством» на Кавказе идет медленно, около года, и связывается с календарными датами, важными и для самой повести (день рождения). 22 августа 1851 года Толстой записывает в дневнике: «28-го мое рождение, мне будет 23 года; хочется мне начать с этого дня жить сообразно с целью, которую сам себе поставил.⟨...⟩ С восхода солнца заняться приведением в порядок бумаг, счетов, книг и занятий; потом привести в порядок мысли и начать переписывать первую главу романа».

Ровно через год он отчитывается перед собой: «Мне уже 24 года; а я еще ничего не сделал. Я чувствую, что недаром уже 8 лет я борюсь с сомнением и страстями. На что я назначен? Это откроет будущность». Эта запись в дневнике сделана в день рождения, 28 августа 1852 года, через несколько недель после того, как в Петербург редактору лучшего русского журнала «Современник» отослана повесть «Детство».

Идея повести вырастает из «Четырех эпох развития», но основной повествовательный и композиционный прием напоминает «Историю вчерашнего дня». «Детство», в сущности, история *двух дней* с небольшими ответвлениями и переходами.

«Вряд ли кто замечает при чтении „Детства“, что действие повести почти целиком уложено в два дня: день в деревне (главы I–XII) и день в Москве (главы XVI–XXIV); главы XIII («Наталья Савишна»), XIV («Разлука») и XV («Детство») служат кадансом первой части и переходом ко второй, а главы XXV–XXVIII образуют финал, заканчивая

намеченную еще в первых главах трагическую линию матери и замыкая всю вещь лирической концовкой, посвященной Наталье Савишне» (Б. М. Эйхенбаум. «Лев Толстой. 50-е годы»).

Такая композиция содержательна: десятилетний Николенька Иртеньев, как и любой ребенок, по-особому воспринимает время. *Каждый день*, даже самый обычный («третий день после моего дня рождения»), настолько насыщен событиями и впечатлениями, что длится если и не «дольше века» (как скажет позднее очень «детский» и очень любивший Толстого Пастернак), то дольше взрослого года. В деревенский день вмещаются классы и игры, подготовка к охоте и сама охота, рисование, молитва, «что-то вроде первой любви», учитель, юродивый, родители, нянька.

Главным событием городского дня оказываются вечерние танцы («До мазурки» — «Мазурка» — «После мазурки») и новая детская влюбленность, которая приходит на смену давней мальчишеской дружбе. «Прощаясь с Ивиными, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он, верно, пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным.

Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить — значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде» (глава XXIII).

Герой — не только повествовательный, но и смысловой центр «Детства». При публикации в журнале повесть получила иное заглавие, чем Толстой возмущался в письме к Некрасову: «Заглавие „Детство“ и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же „История моего детства“ противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории *моего* детства?..» (18 ноября 1852 года).

Его интересовало не *мое* детство, частная история одного дворянского отпрыска, а *универсалия любой* челове-

ской жизни. Толстой, кажется, самостоятельно открывает идею, которую биологи чуть позднее определяют как связь онтогенеза и филогенеза (сходство развития индивида и вида), перенося ее, однако, из биологии в область философского и нравственного развития. Четкая формула такого единства дана в «Отрочестве» (глава XIX): «Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий. Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины».

Воспоминания и размышления о своем детстве («мелочность») становятся для Толстого лишь материалом для поиска общих законов первой эпохи развития («генерализация»). Но это всеобщее можно было найти, лишь как можно глубже заглянув в себя.

Парадокс широты и глубины, индивидуального и всеобщего позднее будет замечательно сформулирован на примере во многом ему противоположного современника-антагониста Достоевского. «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. *Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее*» (Н. Н. Страхову, 3 сентября 1892 года; выделено мной. — *И. С.*).

С такой установкой связан и другой парадокс. Опираясь на семейные воспоминания, называя многих прототипов своих персонажей (вслед за ним это делали родственники и критики, определяя, кто и с кого «списан»), Толстой пишет все-таки не автобиографию и не мемуары (за эту работу он примется лишь в старости и бросит ее в самом начале). Он был (или не был) Николенькой Иртеньевым почти

в той же степени, в какой был (или не был) Пьером Безуховым, Константином Левиным или Холстомером! Точные формулировки писательских отношений Толстого с собственной биографией нашла Л. Я. Гинзбург: «Толстой не писал автобиографий и мемуаров (за исключением начатых в 1903 году и незаконченных „Воспоминаний детства“), может быть, именно потому, что автобиографизмом проникнуто его творчество. (...) Толстой широко пользовался в своих произведениях обстоятельствами собственной жизни — это общеизвестно. Но, изображая Левина или Николеньку Иртеньева, Толстой столь же свободно прибегал к вымыслу („Детство“, „Отрочество“, „Юность“ — произведения скорее автопсихологические, нежели автобиографические). „Документальность“ Толстого — факт совсем не внешнего порядка. Подлинная ее сущность в той прямой и открытой связи, которая существовала между нравственной проблематикой, занимавшей Толстого, и проблематикой его героев. Для Толстого постижение целей и ценностей жизни никогда не было отвлеченным занятием духа. Оно имело одновременно практическое отражение в его жизни и художественное в творчестве. Толстой смолоду и до конца неустанно, каждодневно работал над своей жизнью, над осознанием своего опыта — офицера, помещика, семьянина, педагога, мыслителя. И для него, субъективно, писание повестей и романов было одним из проявлений этой непрерывающейся переработки жизни» («О психологической прозе»).

Вглядываясь в глубину своего детства (правда, не бездонную, как в цитированных выше старческих «Воспоминаниях»; здесь о десятилетнем мальчике пишет двадцатичетырехлетний молодой человек), автор стремится понять *общее детство*.

Об особенностях этой «эпохи развития» подробнее всего говорится в главе XV, заглавие которой совпадает с названием книги (подобные «генерализующие» главы есть и в других частях трилогии): «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслажде-

ний... Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?»

Невинная веселость, потребность любви, сила веры — свойства каждого детского сознания. Однако толстовский автопсихологический персонаж в самых существенных чертах отличается от героя книги «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова или позднее чеховских персонажей «Детворы» (и рассказа, и сборника). «Склонность к анализу» (эта автохарактеристика есть в «Отрочестве»), серьезность нравственной работы над своей жизнью резко выделяет десятилетнего толстовского героя на фоне других детских персонажей.

Уже само начало повести, первый эпизод задает тон, демонстрирует особую пристальность, цепкость взгляда центрального персонажа и размах маятника его эмоций. Мальчик просыпается утром от удара над его головой хлопущей по мухе — и сразу же, как будто в согласии с известной пословицей, начинает делать из мухи слона.

Сначала он обижается на старого учителя: «Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но *сердитыми глазами* окинул Карла Иваныча. (...) „Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: *оттого он меня и мучит*. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы *мне делать неприятности*. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... *противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!*“» (Здесь и далее курсив в авторском тексте мой. — И. С.)

Через минуту, после щекотки, выказывающей доброе расположение Карла Иваныча, те же детали видятся ему в ином свете. «*Какой он добрый и как нас любит*, а я мог

так дурно о нем думать! Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича, *хотелось смеяться и хотелось плакать*: нервы были расстроены. (...) *Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты.* Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто татап умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь».

Потом он превратится в ученика, подумает о бедной судьбе одинокого учителя, вообразит себя взрослым и снова зафиксирует вибрацию, маятник чувств. «Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки».

Необычность, даже уникальность мировосприятия авторпсихологического персонажа «Детства» наиболее отчетливо проявляется в кульминационной сцене смерти матери (глава XXVII, «Горе»). Придуманый в первой главе сон оказывается вещим. Но стоящий у гроба десятилетний ребенок не просто погружен в горе. Перед нами опять возникает сложная динамика, диалектика чувства. «Минута самозабвения» (плач, мучительное созерцание мертвого лица, воспоминания, забытье) вдруг сменяется «самолюбивым чувством» и «бесцельным любопытством», в свете которого вроде бы охваченные горем люди вдруг предстают актерами, притворно играющими в странной драме.

«Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах; платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на

Содержание

<i>И. Н. Сухих</i> . Лев Толстой и Николенька Иртеньев: три эпохи развития	5
ДЕТСТВО	25
ОТРОЧЕСТВО	137
ЮНОСТЬ	225
Примечания. <i>И. Н. Сухих</i>	401